О. А. Бердникова

МЕЖДУ БОГОМ И МИРОМ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЭЗИИ И. А. БУНИНА

Основное положение художественной антропологии И. А. Бунина сформулировано Ф. А. Степуном: «У Бунина же, в сущности, нет ни одной вещи, в которой человеку было бы указано с о в е р ш е н н о (разрядка Ф. Степуна. — *О. Б.*) особое место в мире, в которой он был бы показан как существо принципиально несоизмеримое со всеми другими существами. Всякий метафизический антропологизм, составляющий силу Достоевского, глубоко чужд Бунину. ……Человек присутствует в художественном мире Бунина как бы в растворенном виде: не как сверхприродная вершина, а как природная глубина. И оттого, что в бунинской природе растворен человек, она так утонченно человечна»[1].

Это глубокое и не лишенное справедливости, но вовсе не бесспорное наблюдение Ф. Степуна отражает основную тенденцию в исследовании художественной антропологии И. А. Бунина. Человека в художественном мире писателя принято рассматривать как «природную глубину», отсюда бунинского героя называют «космическим существом»[2], что почти всегда приводит к необходимости искать религиозные обоснования этим характеристикам в рамках буддизма[3].

В современной науке предпринимались попытки интерпретировать творчество писателя и в аспекте христианской религиозной традиции. Однако оказывалось, что метафизические аспекты бунинского творчества либо находятся вне основных положений христианской догматики, либо остаются в лучшем случае в пределах сугубо ветхозаветного мироощущения[4]. Основные претензии к творчеству Бунина со стороны православных ученых вызваны тем, что писателя отличает обостренная чувственность в восприятии и переживании бытия. Русский философ И. А. Ильин писал, что «искусство Бунина по существу своему додуховно. Бунин стал объективным анатомом человеческого инстинкта»[5], а современный исследователь И. П. Карпов считает писателя носителем «страстного сознания»[6] на основании того, что он поэтизировал страсти

© Бердникова О. А., 2008

и самую сильную из них — любовную. Автор широко известной книги «Православие и русская литература» М. М. Дунаев указывает на то, что Бунина влечет не Истина, воплощенная в Боге, а бытие как таковое, прежде всего чувственно переживаемое[7].

Все эти точки зрения, безусловно, раскрывают некоторые грани сложного мировоззрения И. А. Бунина и изображения человека в его творчестве. Вместе с тем сегодня, когда так остро встают проблемы интерпретации феноменов русской художественной культуры, эти, уже достаточно устоявшиеся «доктрины» буниноведения, рождают сомнения.

На наш взгляд, на современном этапе изучения художественного наследия такого значительного художника XX в., как И. А. Бунин, назрела необходимость рассмотреть его творчество сквозь призму христианской антропологии. Именно данный ракурс исследования позволит по-новому осмыслить наиболее спорные вопросы современного буниноведения. В собственно антропологическом ракурсе эти вопросы можно сформулировать так: сохраняет ли человек в художественном мире Бунина личностную определенность, духовное измерение, а, следовательно, сам писатель работает ли в русле христианской культурной традиции; подверженные власти «безликого пола» (Ф. Степун) остаются ли его герои на уровне чисто родовом, а значит, языческом, что действительно делает самого Бунина «анатомом человеческого инстинкта» (И. А. Ильин).

Доктринальными в христианской антропологии богословы считают темы: «человек и Бог», «человек и мир», «первородный грех»[8], которые так или иначе непременно присутствуют в художественной антропологии каждого значительного писателя, реализующего себя в рамках христианской культурной традиции.

В поэзии Бунина — и это ее отличительная и отличающая от прозы особенность — проблемы «человек и Бог» и «человек и мир» доминируют, причем доля сакральной тематики возрастает от раннего к более позднему периоду творчества. К. Зайцев глубоко и точно определяет духовный вектор развития его поэзии: «Основная установка бунинского поэтического сознания есть *устремленность к Богу* (курсив К. Зайцева. — *О.Б.*), жажда Его увидеть и воздать Ему хвалу. И рост бунинского таланта, как стихотворца, можно, пожалуй, лучше всего измерить по признаку все большего утверждения в его поэтическом сознании начала «предстояния Богу», все большей религиозной осмысленности этого творчества»[9].

«Религиозная осмысленность» особенно усиливается в поэзии Бунина революционных лет. В стихотворения этого периода уже

входит история, Февральскую революцию 1917 г. Бунин переживает как «Семнадцатый год» — именно так называет он стихотворение, датированное 27.05.1917. Это единственное стихотворение в лирике поэта, в названии которого дана не просто дата русской революции, но дата, обозначенная последними двумя цифрами числа (в отличие, скажем, от стихотворения «1885 год»). Обладая безупречным языковым чутьем, Бунин-поэт точно угадал то, как в дальнейшем будет вербально обозначаться в русском сознании роковая дата во всей многовековой истории России — именно «семнадцатый год» как знак, репрезентирующий весь российский XX век.

Само название этого стихотворения делает его во многих отношениях программным, раскрывающим со всей определенностью мировоззренческую позицию Бунина. Весьма показательным становится здесь трансформация образа пожара. Вначале «пожар» вверху и воспринимается лирическим героем как метафора зари, отсюда «таинственная нежность» заалевших вершин кажется земным отражением «розовой облачности небес». Затем пожар перемещается вниз, становится реальным событием, называется его точное место и социально определенные причины: «недаром/Вчера был сход!»[10], причем «опять» указывает на повторяемость этого происшествия, ставшего уже устойчивой приметой новых времен. Писатель остро чувствовал, что «революция есть некая тайная злая сила, стремящаяся осмыслить по-своему бессмысленный народный бунт»[11].

Очень скоро пожар как знак «семнадцатого года» станет общим местом в лирических текстах поэтов серебряного века, однако у Бунина нет той апокалиптической окраски, которую этот образ приобретет, к примеру, у Блока. Для Бунина пожар остается историческим символом, одним из «вечных слов русской истории»: «Читаю Соловьева — т. VI..... походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары.....»[12].

Интересен ритмический рисунок этого стихотворения: в нем 15 строк, ритмически организованных перекрестной рифмой, предполагающей четное количество строк. При этом как бы лишней становится именно 8-я строка, в которой появляется слово «пожар» и которая рифмуется с 10-й, где пожар приобретает черты исторического события. Оставшаяся без пары 6-я строка, которая должна рифмоваться по законам перекрестной рифмы с 8-й, в бунинском тексте рифмуется со 2-й и 4-й: «осины» (2), «лощины» (4), «вершины» (6), так что образуется своеобразный смысловой

треугольник, два «угла» которого направлены вверх, выстраивая топическую «вертикаль». Таким образом, лирический герой находится «на отлогом косогоре» как бы посередине мироздания: над ним «вышина», «вершины», а «*там*» — внизу — историческая жизнь, страшная для героя и онтологически чуждая мирозданию, отсюда и курсив как графическое ее выключение из общего мироустройства. Для лирического героя, слушающего «На дождь похожий, лепет в вышине,/Такой дремотно-сладкий и бесстрастный», природное бытие противопоставлено человеческим страстям. Именно поэтому герой Бунина пытается сохранить в дни исторических бурь свою сопричастность природному миру как способ возвыситься над земным и преходящим.

Дневниковые записи 1917—1918 гг. свидетельствуют о том, что Бунин пристально следил по газетам за происходившими в столицах событиями и очень остро переживал их, воспринимая как «сумасшедший дом в аду»[13]. Сразу после большевистского переворота он пишет стихотворение «Мы сели у печки в прихожей» (30.09.17), где исторические стихии демонического XX в. уже врываются в душу человека.

«Мы» и «я» как два лирических субъекта стихотворения воплощают судьбу двоих как вечных участников любовного сюжета, имплицитно данного в тексте, и судьбу отдельного человека, ставшего «свидетелем презренного, дикого века». Традиционное противопоставление дома и мира как двух субстанций бытия теряет свой смысл в рамках «бесстыдного и презренного века», как назовет XX век Бунин в другом стихотворении этого периода («Все снится мне заросшая травой»). «Старинный, заброшенный» дом не становится убежищем для лирических героев в холодном и ночном мире, так как дом уже не несет тепла в прямом, бытовом и сущностном, бытийном значениях. Заброшенность дома подчеркивается тем, что в нем как будто вовсе нет жилых комнат, дважды упоминаются лишь прихожая и печка с угасшим огнем и «угрюмо» краснеющим в печке жаром. Холод и темнота внутри дома сливаются с ночью и снегами снаружи, не случайно окно перестает быть границей внешнего и внутреннего пространств, так же как и символической границей между жизнью и смертью: «И сумерки с ночью мешаясь,/Могильно синеют в окно».

Безграничность русского пространства, всегда присутствующая в поэзии Бунина как исключительно положительная коннотация, в данном стихотворении воспринимается как враждебная сила, несущая гибель. Смысловая емкость образа углубляется за счет явной аллюзии, возникающей в строках: «В степной и глухой стороне»

и «кругом все снега и снега», к известной песне «Степь да степь кругом». «Ночь — долгая, хмурая, волчья» — еще более усиливает ощущение безысходности судьбы лирических героев, так как несет явные приметы демонического присутствия: волк, как известно, символизирует в фольклоре и в литературе бесовские силы. Отсюда «жуткая близость врага» может быть истолкована как в социально-историческом, так и в мистическом планах. Кроме того, «долгая» ночь, в контексте стихотворения воспринимаемая как вечная ночь, привносит в это стихотворение не явный, но уже вполне ощутимый апокалиптичный смысл. Не случайно любовно-бытовой «сюжет» стихотворения завершается выходом в историческое измерение — к столь редкой у Бунина-поэта прямой характеристике своего века. Единственным потенциально светлым началом становятся в этом стихотворении Бунина лишь иконы («А в доме лишь мы да иконы»), но душа лирического героя, свидетеля «дикого» и «презренного века», оказывается во власти мертвящих демонических стихий, поэтому «И в сердце моем так могильно,/Как мерзлое это окно». В отличие от «Семнадцатого года», в этом стихотворении мир обретает только горизонтальное измерение, в нем человек ощущает себя причастным социальной истории, своему веку, от которого не укрыться, не случайно «могильно» синеющие «сумерки» проникают и в сердце лирического героя.

Вместе с тем в лирике И. Бунина революционных лет обозначается личностная определенность лирического субъекта как носителя культурной памяти и христианского нравственного императива. В те годы, когда «незыблемо-священные» Синайские уставы заменялись «новым и дьявольским», как писал И. А. Бунин позже в статье «Миссия русской эмиграции»[14], актуализируется Библейская тематика, сохраняющая христианскую аксиологию и христианский «вектор» истории. Именно после 1917 г. в его поэзии заметно усиливается религиозная насыщенность образов и сюжетов, причем идет возрастание не количества стихотворений на Библейские темы (их было много и в дореволюционной поэзии), а именно религиозного чувства, «христианского отношения к современным событиям» (Е. Н. Трубецкой). В дневнике от 12/25 января 1922 г. Бунин записывает: «Христианство погибло, и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения. И снова мир погибнет — и опять будет средневековье, ужас, покаяние, отчаяние.....»[15].

Самым значимым при этом становится то, что в роковые для российской истории дни именно христианская, духовная Россия осознается Буниным как «потерянный рай», а Россия новая, ре-

волюционная предстает в облике «блудницы», рождающей «новых чад» — «русских Каинов», о которых он напишет в стихотворении «России» (1922).

Стихотворение «России» является достаточно редким для литературы XX в. примером псалмодической поэзии, в нем Бунин пытается осознать глубинный, «религиозно-исторический смысл» (С. Франк) русского бунта 1917 г.

России

О, слез невыплаканных яд!
О тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех — и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья![16]

Понять это стихотворение можно только в соотнесении с текстом Псалма 136 «На реках Вавилонских», иначе бунинский текст можно истолковать в одном духе с известным стихотворением З. Гиппиус, в котором она призывает «повесить в молчании» виновников произошедшего в России. По свидетельству Т. Г. Мальчуковой, «136-й Псалом «На реках Вавилонских» — самый популярный в русской парафрастической поэзии»[17], правда, исследовательница опирается в своих суждениях на поэтический опыт 20-х гг. XIX в., однако приведенный ею список тех русских поэтов, которые перелагали этот Псалом, внушителен: Симеон Полоцкий, А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский, И. П. Тургенев, Ф. Козельский, Ф. Н. Глинка, Н. М. Языков и др. При этом уже в те годы были опубликованы несколько изданий двухтомных собраний псалмодической поэзии конца XVIII — начала XIX в., когда переложения псалмов были распространенным жанром. Примечательно, что поэты начала XIX в. перелагали псалмы по принципу «переводов с комментарием» четырехстрочной строфой с перекрестной рифмой, при этом количество строф примерно соответствовало количеству стихов псалма, и, следовательно, превышало оригинал более чем вдвое[18]. Растянутость изложения возникала и благодаря жанрам оды, сатиры и романтической элегии, в которые нередко облекались псалмы, что, безусловно, приводило к смысловой размытости их собственно духовного содержания. К сожалению, проблема псалмодической поэзии в литературе XX в. практически не исследована. Тем более значимым становится обращение И. А. Бунина как поэта XX в. к пе-

реложению столь популярного среди русских поэтов Псалма 136, при этом бунинское переложение более чем вдвое короче оригинала за счет предельной смысловой и символической концентрации.

Псалом «На реках Вавилонских» не случайно вспомнился писателю в годы вынужденной эмиграции: в нем бесовскому разрушению Иерусалима («до основания», как в революционном гимне) противопоставлена память о «песнях Сионских». По мнению Т. Г. Мальчуковой, «парафразы псалмов появляются вновь во время войны 1812 года»[19], т.е. псалмодическая тенденция обнаруживает себя как реакция на события судьбоносного характера для истории России. Святитель Иоанн Златоуст, написавший замечательный труд «Беседы на Псалмы», дает интересный исторический комментарий, позволяющий раскрыть не только глубинный смысл самого Псалма, но и стихотворения Бунина: «Вместе с вавилонянами тогда напали на иудеев и аравитяне..... которые, несмотря на свое с ними родство, поступали хуже врагов»[20]. Так имплицитно возникает у Бунина указание на родство двух противостоящих лирических субъектов стихотворения: «Ты, блудница», в облике которой предстает Россия, изменившая Иерусалиму, т.е. своему духовному, христианскому предназначению, и «мы», изгнанные с родной земли, бывшие когда-то частью народного целого.

Псалом 136 написан от лица пленных храмовых музыкантов, поэтому разные переводчики дают разные определения их инструментов — «органов наших»: «псалтири», «лиры», «гусли». Но в любом случае сохраняется представление о них как о тех, кто сохранил верность «песням Сионским», т.е. Иерусалиму как духовной Родине. Единственным способом сохранить песни Сиона на земле чужой остается память. В тексте Псалма музыканты восклицают: «Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих!»[21] Однако эта смысловая составляющая Псалма остается в подтексте бунинского стихотворения и содержится в нем имплицитно. На первый план выходит тема возмездия «блуднице» за ее нечестие. Примечательно, что первая строка бунинского стихотворения, которая и вызывает в памяти известное начало Псалма: «На реках Вавилонских, там сидели мы и *плакали*, когда вспоминали мы Сион», как бы ей противоречит: «О, слез *невыплаканных* яд!» (курсив мой. — *О.Б.*). Святитель Иоанн Златоуст так комментирует начало Псалма: «Не просто плакали, но сделали из этого постоянное занятие: для того садились, чтобы плакать и рыдать. Почему же не позволялось им петь на чужой земле? Потому что нечистым ушам не следовало слышать этих таинственных песнопений»[22]. Этот заменяющий песни плач освобождал души от тяжес-

ти разлуки с родной землей и «лишения собственного богослужения». «Невыплаканные слезы» в бунинском стихотворении рождают «яд», отравляющий душу ненавистью, жгущей душу, но «тщетной», потому что кому мстить? Своему народу? Своей душе? Именно осознание тщетности и бесплодности такой ненависти рождает призыв к наказанию, идущему не от «нас», мучающихся, а поэтому мстящих, но от высшего Судии, «мщение» Которого единственно справедливо и «свято».

Вместе с тем, написав стихотворение по мотивам Псалма, Бунин точно цитирует лишь одну, заключительную его строку: «*Блажен, кто раздробит о камень*/Твоих, блудница, новых чад» (курсив мой. — *О.Б.*). Сравним со строкой Псалма: «Блажен, кто имеет и разбиет младенцы твоя о камень» или в новом переводе: «Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень!»[23] «Эти слова, исполненные великого гнева и угрожающие великим наказанием и мучением, суть слова страсти пленных, которые требуют великого наказания, некоторой изумительной и необыкновенной казни». Пророк «описывает гнев, негодование..... страстное желание иудеев, которые простирали свой гнев даже на младенческий возраст»[24] — так толкует эти строки Псалма Святитель Иоанн Златоуст, подчеркивая различие, существующее по этому вопросу между Ветхим и Новым Заветом. Чрезвычайно значимым при этом становится тот факт, что этот Ветхозаветный закон мести в тексте бунинского стихотворения из восьми строк, помещается в 3-ю и 4-ю строки, а «младенцы» заменяются на «чада». Слово «чада», находящееся в одном синонимичном ряду со словом «младенцы», тем не менее имеет и другое значение: В. И. Даль указывает на старое русское слово «чадь», обозначающее «челядь», «дружина», «ополчение», «воины»[25]. Замена слова влечет за собой существенное изменение смысла всего стихотворения: смысловой акцент переставляется с мести младенцам на «Господнее святое мщенье» новым «воинам» России, рожденным «в лютые мгновенья» ее истории, т.е. той части ее народа, которая оказалась втянутой в «страшную воронку» (М. Цветаева) революции. «Сила Божия не в избавлении от бедствий, но в ниспослание бедствий на самих победителей»[26], — эти слова Святителя Иоанна Златоуста как нельзя более точно характеризуют истинный смысл того «Господнего святого мщенья», которое призывается в стихотворении Бунина на «новых чад» «блудницы» России.

При этом слово «Блажен», символизирующее «высшую степень духовного наслаждения»[27], повторяется в бунинском тексте дважды: в последней строке оно характеризует уже не человеческое,

а Божественное деяние, когда «над всякой силой мира встает всегда сила и воля Творца» (Арх. Иоанн Сан-Францисский). Вместе с тем венчающее стихотворение И. Бунина «Господнее святое мщенье» как Высшее и единственно возможное справедливое возмездие становится своеобразным катарсисом, призванным освободить души от чувства «тщетной ненависти». Бунин как бы вторит Лермонтову, который в «Смерти поэта» также стремился облегчить душу от «тщетной ненависти» к убийцам Пушкина, обещая им «Высший суд». Именно благодаря этому глубинному духовному содержанию бунинского стихотворения, оно становится именно переложением Псалма, точно отражающим его иносказательный смысл, всегда раскрывающий мир души человека, а не только события древней истории. Псалом 136 призывает человека к покаянию и очищению от грехов и нечестия, не случайно он «поется в Православной Церкви за вечерним богослужением в течение трех суббот, предшествующих Великому посту»[28].

Значимость стихотворения «России» для понимания исторической и мировоззренческой позиции Бунина трудно переоценить. Стихотворение с подобным названием присутствует как программное в творчестве почти каждого русского поэта. В творчестве И. А. Бунина такое стихотворение появилось только после пережитого им и всей страной потрясения 1917 г. и не могло появиться раньше по многим причинам. Одну из них с поразительной точностью обозначил русский публицист Н. В. Болдырев: «Как странно! Благодаря революции мы обрели Родину. Чудесным образом большевистская власть превратила огромную страну в один огромный острог. Из него не вырвешься, а если и вырвешься, то только сильнее почувствуешь свою связь с Родиной. Теперь нам не смешаться с европейской толпой, мы везде русские, везде на особом положении. Наши братья-эмигранты чувствуют это особенно остро. Когда мы были *чем-то*, то Россия могла быть для нас *ничем;* когда мы стали *ничем*, Россия стала *всем*. Такова диалектика революции»[29] (курсив везде Н. В. Болдырева. — *О. Б.*). Подобную «диалектику» можно наблюдать и в творческом развитии Бунина: «……не хвалитесь вы, за ради Бога, что вы — русские. Дикий мы народ!»[30], — провозглашает писатель устами Кузьмы Красова в «Деревне». А уже в эмиграции пишет о том, что чувствует в своей душе и крови корни, «ушедшие в русскую почву», и создает один из самых потрясающих «памятников» России — роман «Жизнь Арсеньева».

«Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?» — восклицал И. Бунин в статье «Миссия русской эмиграции», когда призывал не соглашаться «на новый «похабный мир» с нынешней ордой», т.е. «новыми чадами» большевистской России. Писатель пишет о «святой ненависти к русскому Каину», осмысливая гражданскую войну как братоубийство сквозь призму метаистории всего человечества. Только пережив «великое падение России и вместе с тем и вообще падение человека»[31], И. Бунин осознал, что «есть еще нечто, что гораздо больше и России... …Это — мой Бог и моя душа»[32].

Именно христианский Бог и устремленная к Нему душа человека, переживавшего «ужас, покаяние, отчаяние», становятся главными темами стихов Бунина 1918—1923 гг. Эти темы, раскрытые на основе Библейских сюжетов и псалмодической поэзии, свидетельствуют о развитии в русской поэзии традиции «христианского реализма»[33]. В вечных сюжетах Буниным высвечивается всегда новая драма человека и человечества как субъектов не только истории, но и христианской метаистории, жизнь человеческой души в ее отношении к Богу, Родине, народу как национальному целому.

---

[1] *Степун Ф.* Встречи. — М., 1988. — С. 100.

[2] *Сливицкая О. В.* «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. — М., 2004.

[3] См.: *Marullo Th. G.* «If You see Buddha»: Studies of Ivan Bunin. — Illinois, 1998.

[4] См.: *Карпенко Г. Ю.* Образ «сотворенного мира» в творчестве И. А. Бунина и ветхозаветная традиция // Царственная свобода: О творчестве И. А. Бунина: К 125-летию со дня рождения писателя: Межвуз. сб. науч. тр. — Воронеж, 1995. — С. 35—45.

[5] *Ильин И. А.* Собр. соч.: В 10 т. — М., 1996. — Т. 6, кн. 1. — С. 220.

[6] *Карпов И. П.* Авторское сознание в русской литературе XX века. — Йошкар-Ола, 1994. — С. 21.

[7] См.: *Дунаев М. М.* Православие и русская литература. — М., 1999. — Ч. 5. — С. 508.

[8] См.: *Протоиерей Иоанн Мейендорф.* Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы. — Минск, 2001.

[9] *Зайцев К. И.* А. Бунин: Жизнь и творчество. — Берлин, 1934. — С. 108.

[10] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. — М., 1987. — Т. 1. — С. 350. В дальнейшем стихотворения Бунина цитируются по этому изданию.

[11] *Мейер Георгий.* У истоков революции. — Париж: Посев, 1971. — С. 70.

[12] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. — Т. 6. — С. 432.

[13] Там же. — С. 397.

[14] См.: *Бунин И. А.* Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. — М., 1990. — С. 352.

[15] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 8 т. — М., 1994. — Т. 1. — С. 347.

[16] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. — Т. 6. — С. 432.

[17] *Мальчукова Т. Г.* Парафразы псалмов в русской поэзии 1820-х годов // Евангельский текст в русской поэзии XVIII—XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. — Петрозаводск, 2001. — Вып. 3. — С. 111.

[18] См.: Там же.

[19] Там же. — С. 115.

[20] *Св. Иоанн Златоуст.* Беседы на Псалмы. — М., 2005. — С. 507.

[21] Псалтирь на церковно-славянском языке с параллельным переводом на русский язык. — М., 2003. — С. 463.

[22] *Св. Иоанн Златоуст.* Указ. соч. — М., 2005. — С. 508.

[23] Псалтирь. — С. 465.

[24] *Св. Иоанн Златоуст.* Указ. соч. — С. 508.

[25] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М., 1989. — Т. 4. — С. 580.

[26] *Св. Иоанн Златоуст.* Указ. соч. — С. 508.

[27] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. — Т. 4. — С. 95.

[28] Псалтирь. — С. 637.

[29] *Болдырев Н. В.* Правда большевистской России. Безымянная Россия // Москва. — 2001. — № 1. — С. 217.

[30] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. — С. 26.

[31] *Бунин И. А.* Окаянные дни. — С. 352.

[32] Там же. — С. 356.

[33] См.: *Захаров В. Н.* Христианский реализм в русской литературе // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв. — Петрозаводск, 2001. — Вып. 3. — С. 5—20.

С. В. Димитрова

ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И «ПОЛНОТЕ» ПОСТУПКА

Жизненные реалии современного человека таковы, что высокая степень осознанности действий, их прагматическая направленность не приводят к обретению свободы. Возникают новые, более тотальные формы зависимости, причиной которых являются стремления людей к достижению собственных целей. Ориентированность на успешность действий, формулировка рациональных целей, создание и применение конструктивных средств создают ситуации, при которых человек чувствует себя «покинутым», «отчужденным», «бездомным».

Обоснование данного положения начнем с определения понятия «цель». Цель — это особенная форма направленности действия,

© Димитрова С. В., 2008